

КОЛЛЕКТИВ АВТОРОВ

СИБИРСКИЙ ТЕКСТ В
НАЦИОНАЛЬНОМ
СЮЖЕТНОМ
ПРОСТРАНСТВЕ

Коллектив авторов

**Сибирский текст в национальном
сюжетном пространстве**

«Сибирский федеральный университет»

2010

УДК 81.161.1(571)

ББК 83.3(2P5)

Коллектив авторов

Сибирский текст в национальном сюжетном пространстве /
Коллектив авторов — «Сибирский федеральный университет»,
2010

ISBN 978-5-7638-1923-6

Издание посвящено проблемам художественной рецепции и идеологического конструирования Урало-Сибирского региона в русской культуре XIX-XX вв. На основе произведений русских писателей, этнографов, а также с привлечением целого ряда прежде не публиковавшихся архивных материалов авторы монографии исследуют этапы сложного процесса осмысления русского Востока, вхождения его в национальную картину мира, формирования спектра его культурно-исторических ролей. Адресовано филологам, историкам, социологам. Рекомендовано к печати ученым советом Института истории и археологии УрО РАН.

УДК 81.161.1(571)

ББК 83.3(2P5)

ISBN 978-5-7638-1923-6

© Коллектив авторов, 2010

© Сибирский федеральный
университет, 2010

Содержание

От редактора	5
Стрела и шар: введение в метагеографию Зауралья	8
Сибиряки на службе империи: служба и самосознание (случай П.А. Словцова и И.Т. Калашникова)	23
Конец ознакомительного фрагмента.	27

Сибирский текст в национальном сюжетном пространстве

Коллективная монография

От редактора

В современном русском литературоведении сложились два подхода к пониманию сибирского текста русской литературы. Первый – вслед за осуществленной В.Н. Топоровым и на сегодня уже классической реконструкцией Петербургского текста – продемонстрировал в 2002 г. В.И. Тюпа, охарактеризовавший комплекс сибирских мифологем в классических произведениях литературы XIX в. как трансформацию архетипов инициационной обрядности¹. Другой ракурс проблемы – понимание сибирского текста как аутентичной локальной словесности, катализатором к формированию которой служит территориальная идентичность (в случае с Сибирью – областничество XIX – начала XX вв. и его рефлексии в советской словесности и культуре диаспоры)². Обе точки зрения являются взаимодополняющими – в соответствии с логикой самого материала, который представляет собой, с одной стороны, огромный массив текстов «о Сибири» (начиная с пронизанных мифопоэтикой и восходящих еще к античным временам европейских известий о Северной Азии XV-XVI вв. и вплоть до многочисленных травелогов XIX-XX столетий, преимущественно посвященных проблемам каторги и широко понимаемой этнографии), а с другой – опыт становления сначала местной рукописной, а затем и литературной в собственном смысле традиций³. По мере того как Россия продвигалась за Урал, преобразуясь из сравнительно небольшого восточно-европейского государства в громадную территориально интегрированную империю, обе эти установки встречались в пространстве литературного текста и начинали сложно взаимодействовать.

Увлеченное «локальными текстами» современное отечественное литературоведение редко прибегает к иерархизации образов тех территориальных миров, которые воссоздаются в культуре. Так, по умолчанию равнозначными признаются любые территориальные тексты, которые находятся за рамками московского и петербургского культурных локусов. Нередко родовым, объединяющим понятием для них служит понятие «провинциального текста». Однако когда тот или иной топографический ареал идентифицируется как провинциальный, тогда неизбежно активизируются два его альтернативных, но «неразрывно связанных

¹ Тюпа В.И. Мифологема Сибири: к вопросу о «сибирском тексте» русской литературы // Сибирский филологический журнал. 2002. № 1. С. 27-35. Предшественником В.И. Тюпы был Ю.М. Лотман, указавший на мифогенный характер сибирского ландшафта в рамках хронотопов главных русских романов XIX столетия. См.: Лотман Ю.М. В школе поэтического слова. Пушкин. Лермонтов. Гоголь. М., 1988. С. 338-340.

² Серебрянников Н.В. Опыт формирования областной литературы. Томск, 2004. Гл. 3, раздел 1. «Конструирование сибирского текста».

³ Литературные образы сибирского ландшафта и некоторых его локальных составляющих в последнее время становились предметом изучения в ряде коллективных трудов. См.: Сибирский текст в русской культуре: Сб. ст. Томск, 2002; Сибирский текст в русской культуре. Вып. 2. Томск, 2007; Сибирь в контексте мировой культуры. Опыт самоописания: Коллективная монография. Томск, 2003; Сибирь: взгляд извне и изнутри. Духовные измерения пространства. Иркутск, 2004; Алтайский текст в русской культуре. Вып. 1. Барнаул, 2002; Алтайский текст в русской культуре: Материалы второго научного семинара «Алтайский текст в русской культуре». Вып. 2. Барнаул, 2004; Алтайский текст в русской культуре. Материалы Третьей региональной науч.-практ. конф. Вып. 3. Барнаул, 2006. Отметим также книгу американских славистов: Between Heaven and Hell. The myth of Siberia in Russian Culture / Ed. by G. Diment and Y. Slezkine. New York, 1993.

друг с другом смысла – убогого никчемного захолустья и потерянного рая»⁴. В этой ситуации научное исследование (особенно проводимое местным специалистом) рискует выйти за рамки науки в эмоционально-политическую плоскость. Характерным примером болезненного переживания провинциальной «отдаленности» служит часто проникающий то в масс-медиа, то в публицистику и имеющий явную компенсаторную природу мотив «центральности» той или иной российской области и / или города. С этим мотивом нередко соседствуют разговоры не просто о местной самобытности, но самостоятельности и едва ли не исключительности⁵.

Сибирский текст, как показано в большинстве работ предлагаемого читателю издания, выходит за рамки *провинциального* мотивного субстрата русской культуры⁶, и если сразу вынести за скобки ненужные претензии на *центральность* (как ожидаемую альтернативу провинциальности), то уместнее всего будет проецировать сибирский текст на концепт *периферии*. Впрочем, захолустьем, по определению Л.О. Зайонц, считать Сибирь (как и любую местность), конечно, можно. Однако следует понимать, что особенностью эмоционально-оценочных высказываний является их сочетаемость принципиально с любым объектом и, как результат, выражение определенного *отношения* говорящего к объекту, но не характеристика его по существу. Будучи ключевым параметром семиосферы, периферийность естественным образом присуща Сибири⁷, которую Н.М. Карамзин, вполне безоценочно и точно фиксируя реалии, описывал как «неизмеримое пространство Северной Азии, огражденное Каменным Поясом, Ледовитым морем, Океаном Восточным, цепию гор Алтайских и Саянских...»⁸. Топографической изолированности соответствовала и историческая: пространство Северной Азии «укрывалось от любопытства древних Космографов», а когда давало о себе знать, то лишь как враждебная цивилизации земля. «...История не ведала Сибири до нашествия Гуннов, Турков, Моголов на Европу...»⁹. Если приводить примеры эмоционального отношения к этому положению вещей (будем реалистичны – как правило, негативного отношения), то оно будет представлять собой не столько тривиальные сетования на захолустность окраины, сколько едва ли не эсхатологическое переживание края света и конца времен (в персональном измерении – обрыва, перелома частной, *моей* жизни). «...Надобно помнить общую тему, что Сибирь несет печать отвержения», – подчеркнул в одном из своих писем первый сибирский историк П.А. Словцов¹⁰, а его высокопоставленный друг и единомышленник М.М. Сперанский воспринял свою губернаторскую миссию в Сибири 1819-1821 гг. не как продвижение на восток, а – в соответствии с воззрениями на преисподнюю – вниз. «Чем далее спускаюсь я на дно Сибири, тем

⁴ Зайонц Л.О. История слова и понятия «провинция» в русской культуре // Russian Literature. North Holland. 2003. LIII. С. 323.

⁵ См. любопытную дискуссию о Норильске, который в определенном оценочном ракурсе оказывается выделенным из Сибири: «...Никогда никто в Норильске не считал себя и не будет считать сибиряком. Мы всегда считаем себя <...> северянами». И далее: «Я считаю, что норильчанин – это человек мира, даже не Севера, и не Юга, и не Красноярского края, а человек мира. Именно Норильск, Север дает нам возможность общаться со всем миром» и проч. (История места: учебник или роман? Сб. материалов Первой ежегодной конф. в рамках проекта «Локальные истории: научный, художественный и образовательный аспекты» (Норильск, 9-11 дек. 2004 г.). М., 2005. С. 270; 273 и сл.).

⁶ В новейших очерках российского колониализма, выпущенных издательством «Новое литературное обозрение», Сибирь помещена в один ряд с регионами, положение которых в составе империи иерархически выше провинции в обычном смысле этого слова. См.: Западные окраины Российской империи. М., 2007; Северный Кавказ в составе Российской империи. М., 2007; Сибирь в составе Российской империи. М., 2007; Центральная Азия в составе Российской империи. М., 2008.

⁷ Аналогичным образом, но с другой точки зрения в терминах периферийности можно рассуждать и в целом о России, не без труда вписывающейся в европейскую цивилизационную парадигму. Нойманн И.Б. Использование «Другого». Образы Востока в формировании европейских идентичностей. М., 2004; Ливен Д. Россия как империя и периферия // Россия в глобальной политике. 2008. № 6. Режим доступа: <http://www.globalaffairs.ru/numbers/35/10831.html>.

⁸ Карамзин Н.М. История государства Российского: В 3 кн. Репринтное воспроизведение изд. 1842-1844 гг. Кн. 3. М., 1989. Стб. 219.

⁹ Там же.

¹⁰ ИРЛИ. Ф. 120. Оп. 1. Ед. хр. 101. Л. 9.

более нахожу зла, и зла почти нетерпимого», – писал он своему товарищу А.А. Столыпину¹¹. В этом смысле пушкинский образ «во глубине сибирских руд» имеет большую предысторию.

Помимо отмеченных, другими приметами периферийности сибирского ландшафта являются не знавшая крепостничества (в масштабах центральной России) экономика, иной климат, воспринимавшийся во всей гамме своих признаков – то как идеальный, то как невыносимый¹², своеобразная этнография и религия местного населения, сразу поставившая русского колониста перед вопросом, как относиться к местным культовым практикам¹³. Отметим наконец хорошо известное переживание русским человеком, особенно в XVII-XVIII вв., своего сибирского опыта как опыта пребывания в *чужой* стране (классический пример здесь – Аввакум). Все это заставляло многих авторов подспудно, а подчас и открыто соотносить сибирскую окраину скорее с *чужим*, чем со *своим*, что, в свою очередь, едва ли свойственно оценкам провинции, рассматривавшейся все же как вариация *своего*, но с оттенком вторичности и подчиненности.

Литературное «изобретение»¹⁴, конструирование сибирского ландшафта в русской культуре представляло собой сложный процесс постоянного колебания базовой оценки наблюдателя, словно раздваивающегося между задачей дальнейшего отчуждения Сибири и противоположной установкой, которая заключалась в символическом освоении / присвоении, включении Сибири в контур национальной жизни. Так или иначе обе установки подразумевали наделение Зауралья определенными ролями в рамках функционального поля культуры, соединение Сибири с тем или иным заданием, которое она как социально-географическая и мифологическая реальность может выполнять по отношению к человеку. В настоящем издании предпринята попытка рассмотреть репертуар этих символических ролей самой отдаленной окраины Русского государства, ролей, формирующих сложную структуру сибирского текста в сюжетике русской литературы.

¹¹ Письма Сперанского к А.А. Столыпину // Русский архив. 1871. № 3. Стб. 466.

¹² Анисимов К.В. Климат как «закопный сепаратист». Символические и политические метаморфозы сибирского мороза // Новое литературное обозрение. 2009. № 5 (99). С. 98-114.

¹³ Слэкин Ю. Арктические зеркала: Россия и малые народы Севера. М., 2008.

¹⁴ Ср.: Вульф Л. Изобретая Восточную Европу: карта цивилизации в сознании эпохи Просвещения. М., 2003.

Стрела и шар: введение в метагеографию Зауралья

Есть горизонт у каждого предмета, и он не обязательно внутри него, а может быть снаружи. Не потому ли кажется луна намного ближе, скажем, чем Байкал, – ведь за Уралом все как будто рядом – поскольку он далек от нас, как миф?

Иван Жданов. Завоевание стихий

Метагеография: предмет и метод

Метагеография – междисциплинарная область знания, находящаяся на стыке науки, философии и искусства (в широком смысле) и изучающая различные возможности, условия, способы и дискурсы географического мышления и воображения. Возможные синонимы понятия метагеографии – философия ландшафта (пейзажа), геофилософия, философия пространства (места), экзистенциальная география, геософия, в отдельных случаях – география воображения, имагинальная (образная) география, геопоэтика, поэтика пространства. Терминологический смысл метагеографии аналогичен аристотелевскому пониманию физики и метафизики.

Рационалистические и сциентистские подходы к этому понятию фиксируют предмет метагеографии на изучении общих (генерализированных) географических законов. Такие подходы первоначально развивались на базе общего землеведения и общей физической географии в первой половине XX в., хотя первоначальные фундаментальные положения, которые в современной интерпретации можно назвать метагеографическими, были высказаны уже в первой половине XIX в. немецким географом Карлом Риттером¹⁵. Существенная роль в становлении основ метагеографии принадлежит классической геополитике (конец XIX – начало XX вв.), в которой традиционная географическая карта стала осмысляться как предмет метафизических и геософских спекуляций¹⁶. Усиление интереса к метагеографии в рамках географической науки в 1950-1970-х гг. было вызвано внедрением математических методов, системного подхода и применением различных логико-математических моделей, призванных объяснять наиболее общие географические законы¹⁷. В дальнейшем, к концу XX – началу XXI вв., понятие метагеографии было подвергнуто критике с точки зрения традиционной сциентистской парадигмы, ориентированной на доминирование исследований в духе case-study, и практически вытеснено на дискурсивную периферию¹⁸. Вместе с тем неявные (латентные) метагеографические постановки проблем постоянно присутствуют в современных исследованиях ланд-

¹⁵ Риттер К. Идеи о сравнительном землеведении // Магазин землеведения и путешествий. Географический сборник, издаваемый Николаем Фроловым. Т. II. М., 1853. С. 353-556; Геттнер А. География. Ее история, сущность и методы / Пер. с нем. Е.А. Торнеус; Под ред. Н. Баранского. М.; Л., 1930; Замятин Д.Н. Методологический анализ хронологической концепции в географии // Изв. РАН. Серия географическая. 1999. № 5. С. 7-16.

¹⁶ Замятин Д.Н. Геополитика: основные проблемы и итоги развития в XX веке // Политические исследования. 2001. № 6. С. 97-116.

¹⁷ Бунге В. Теоретическая география. М.: Прогресс. 1967; Гохман В.М., Гуревич Б.Л., Саушкин Ю.Г. Проблемы метагеографии // Математика в экономической географии. Вопросы географии. № 77. М., 1968; Харвей Д. Научное объяснение в географии. М., 1974; Саушкин Ю.Г. Экономическая география: история, теория, методы, практика. М., 1973; Аслашикашвили А.Ф. Метакартография. Основные проблемы. Тбилиси, 1974; Николаенко Д.В. Введение в метатеорию метагеографии. Симферополь, 1982.

¹⁸ Lewis, M. W., Wilgen K. E. The Myth of Continents: A Critique of Metageography. Berkeley and Los Angeles, 1997.

шафтных образов, географического воображения, символических ландшафтов, соотношения ландшафтов и памяти¹⁹.

В рамках философии дискурсивные возможности развития понятия метагеографии были определены в первой половине XX века работами немецкого философа Мартина Хайдеггера – как в ранней феноменологической версии (книга «Бытие и время», 1927), так и в более поздних экзистенциалистских версиях (ряд эссе 1950-1960-х гг., в т.ч. «Строить обитать мыслить», «Поэтически обитает человек», «Искусство и пространство», «Вещь» и др.)²⁰. Наряду с этим метагеография базируется и на различного рода феноменологических штудиях пространства и места – здесь к фундаментальным работам можно отнести труды Г. Башляра 1940-1950-х гг.²¹. Развитие семиотики, постструктурализма и постмодернизма способствовало оживлению философского интереса к метагеографическим проблемам в конце 1960-х – 1980-х гг. (работы М. Фуко, Ж. Делеза и Ф. Гваттари, введение в философский дискурс понятий гетеротопии, геофилософии, детерриториализации и ретерриториализации)²². Наконец, интенсивные процессы глобализации вкупе с концептуальным «дрейфом» философии к изучению широких междисциплинарных областей знания в конце XX – начале XXI вв. обусловили толчок в развитии метафизических исследований земного пространства²³.

В искусстве собственно метагеографические проблемы начали осмысляться в начале XX в. – в литературе (произведения Пруста, Джойса, Андрея Белого, Кафки, Хлебникова, живопись и теоретические манифесты футуристов, кубистов, супрематистов, архитектура Ф.Л. Райта). Это художественное осмысление земного пространства шло параллельно научному перевороту в физике (теория относительности, квантовая теория), развитию географии человека (антропогеографии). Искусство художественного и литературного авангарда (прежде всего, деятельность Кандинского, Малевича, Эль Лисицкого, Клее, Платонова, Леонидова, Введенского, Хармса, чуть позднее – Беккета) рассматривало и воображало пространство как, по сути, экзистенциальную онтологию человека. Вторая волна европейского художественного авангарда (1940-1960-е гг.) фактически воспроизводила те же художественные позиции, не внося ничего радикально нового. В рамках этой традиции важно использование синтетических пространственных опытов китайского и японского искусства (живопись, графика, каллиграфия, поэзия – например, произведения А. Мишо).

К началу XXI в. метагеографические опыты и исследования развивались преимущественно в сфере литературы, философии, искусства; роль научных репрезентаций была незначительной. Для метагеографии в целом характерно смешение и сосуществование различных текстовых традиций: художественных, философских, научных; серьезное значение приобрел литературный жанр эссе, позволяющий наиболее свободно ставить и интерпретировать метагеографические проблемы²⁴. Быстрое развитие технологий (компьютеры, видео, Интер-

¹⁹ Tuan Y. Realism and fantasy in art, history and geography // Annals of Association of American Geographers. 1990. № 80. P. 435-446; Soja E.W. Postmodern Geographies: The Reassertion of Space in Critical Social theory. London: Verso, 1990; Schama S. Landscape and Memory. New York, 1996.

²⁰ Хайдеггер М. Бытие и время / Пер. с нем. В.В. Бибихина. М., 1997; Хайдеггер М. Время и бытие. М., 1993; Хайдеггер М. Строить обитать мыслить // Проект international 20. Октябрь 2008. С. 176-190.

²¹ Башляр Г. Вода и грезы. Опыт о воображении материи. М., 1998; Башляр Г. Грезы о воздухе. Опыт о воображении движения. М., 1999; Башляр Г. Земля и грезы воли. М., 2000; Башляр Г. Поэтика пространства // Башляр Г. Избранное: Поэтика пространства. М., 2004. С. 5-213.

²² Делез Ж., Гваттари Ф. Анти-Эдип. Екатеринбург, 2007; Делез Ж., Гваттари Ф. Что такое философия? СПб., 1998; Фуко М. Другие пространства // Фуко М. Интеллектуалы и власть. Часть 3. Статьи и интервью. 1970-1984. М., 2006. С. 191-205; Замятин Д.Н. Гетеротопия. Материалы к словарю гуманитарной географии // Гуманитарная география. Научный и культурно-просветительский альманах. Выпуск 5. М., 2008.

²³ Подорога В. А. Выражение и смысл: Ландшафтные миры философии. М., 1995; Нанси Ж.-Л. Corpus / Пер. с франц. Е. Петровской и Е. Гальцовой. Сост., общ. ред. и вступ. ст. Е. Петровской. М., 1999; Слотердайк П. Сферы. Макросферология. П. Глобусы. СПб., 2007.

²⁴ Замятин Д.Н. Метагеография: Пространство образов и образы пространства. М., 2004; Рахматуллин Р. Москва –

нет) способствует появлению новых метагеографических репрезентаций и интерпретаций (тематика виртуальных пространств, гипертекстов, лишь косвенно связанных с конкретными местами и территориями).

В содержательном плане метагеография занята проблематикой закономерностей и особенностей ментального дистанцирования по отношению к конкретным опытам восприятия и воображения земного пространства. Существенным элементом подобного дистанцирования является анализ экзистенциального опыта переживания различных ландшафтов и мест – как своего, так и чужого. С точки зрения аксиоматики метагеография предполагает существование ментальных схем, карт и образов «параллельных» пространств, сопутствующих социологически доминирующим в определенную эпоху образам реальности. Развитие и социологическое доминирование массовой культуры ведет также к появлению приземленных паранаучных версий метагеографии (близких подобным версиям сакральной географии), ориентированных на поиск и фиксацию различного рода «мест силы», «таинственных мест» и т.д.

В идеологическом контексте метагеография и конкретные метагеографические опыты могут оказывать влияние на развитие художественных течений, научных и философских направлений, социополитических и социокультурных представлений интеллектуальных сообществ. В концептуальном плане метагеография содержательно взаимодействует с гуманитарной и культурной географией, геопозитикой, географией искусства, геофилософией, сакральной географией, архитектурой, мифогеографией, геокультурологией, различными художественными и литературными практиками.

Ключевой элемент метагеографии России

Метагеография Зауралья – ключевой элемент современной метагеографии России. Если понимать под метагеографией России систему идеологических образно-географических комплексов или ансамблей, ориентированных на закрепление центрального образа-контекста Северной Евразии²⁵, то метагеография Зауралья представляет собой динамическую образно-географическую структуру, призванную совершить радикальное перемещение, «перетащить» и трансформировать старые образно-географические комплексы, направленные на воспроизведение идеологических образов Византии, Третьего Рима и «второй Европы». Становление метагеографии Зауралья в рамках метагеографии России начинается примерно с XI-XII вв. (походы новгородцев за Камень), однако решающими событиями – в то же время еще не определяющими геоидеологическую ситуацию до конца – оказываются присоединение Сибири к России (конец XVI-XVII вв.) и интенсивное хозяйственное и культурное освоение Урала в XVIII-XIX вв.

Основную метагеографическую проблему России можно сформулировать так: идеологическая инерция старых образно-географических комплексов «удерживает» страну к западу от Урала и тормозит процессы ментального дистанцирования по отношению к Европе. Соответственно, главную метагеографическую задачу России, которая решается уже приблизительно на протяжении 400 лет, можно обозначить как поиск привлекательных, эффективных идеологических образов Зауралья, способных ментально «развернуть» страну к востоку, в сторону Сибири, Дальнего Востока, Центральной Азии и Китая. Естественно, что накопленные Россией в результате цивилизационного общения с Европой страты никуда не исчезают и остаются фундаментом ее дальнейшего цивилизационного и метагеографического развития – речь

Рим. Новый счёт семихолмия // Независимая газета. Ex Libris. 10 октября 2002. С. 4-5; Рахматуллин Р. Две Москвы, или Метафизика столицы. М., 2008; Голованов В. Пространства и лабиринты. М., 2008.

²⁵ Замятин Д.Н. Вообразить Россию. Географические образы и пространственная идентичность в Северной Евразии // Космополис № 3 (22). Осень 2008. С. 33-40; Замятин Д.Н. Геократия. Евразия как образ, символ и проект российской цивилизации // Политические исследования. 2009. № 1. С. 71-90.

в данном случае идет о смене геоидеологического вектора и переносе метагеографического «центра тяжести» за Урал.

Вместе с тем обозначенная выше метагеографическая задача может породить немало вопросов; например, почему следует говорить о метагеографии Зауралья, а не о метагеографии Сибири; почему географические образы Зауралья, взятые в их идеологическом контексте, выглядят предпочтительнее, нежели соответствующие образы Сибири? Прежде чем приступить к изложению стратегических основ метагеографии Зауралья, нужно обосновать сам выбор образа, учитывая, что географические образы Сибири складывались в историческо-цивилизационном измерении достаточно долгое время и обладают хорошо развернутыми содержательными характеристиками.

Географические образы Сибири: специфика становления и развития

Географические образы Сибири в их обобщенной целостности – результат длительной ретрансляции идеальных европейских ландшафтных образов на первичное эмоциональное восприятие зауральских пейзажей. Понятно, что подобные ментальные процессы происходили постоянно и очень интенсивно со времен Великих географических открытий, и в этом смысле Сибирь ничем принципиальным не отличается от Америки, Африки или же Южной и Юго-Восточной Азии, ставших объектами европейской колониальной экспансии²⁶. Другое дело, что Россия, выйдя на уральские рубежи и перешагнув за Камень, воспроизводила такие образы с известной ментальной отсрочкой, с некоторым историко- и геософским «запозданием» – сначала ориентируясь на классические образы колонизации с сакрально-мифологическим библейско-христианским подтекстом, а затем уже на профанизированные «светские» образы сниженной европейской колонизации, обустроивавшей «островки уюта и комфорта» среди «моря» диких или слабо освоенных пространств. Так, первый пространственный русский текст о Зауралье конца XV в. – «Сказание о человецех незнаемых» – является очевидным примером первого дискурса, далее хорошо развернутого в летописных и церковных образцах²⁷; великолепным лапидарным образцом второго дискурса можно назвать «Из Сибири» Антона Чехова. Как бы то ни было, мощные природные образы холода, снега, однообразных равнин, тайги, степей и болот сочетались с образами безлюдья и языческой дикости, коим сопутствовали также образы мифологических и реальных богатств.

Ментально-идеологическая ретрансляция в процессах создания и воспроизводства географических образов Сибири, некая дополнительная пространственная трансакция, связанная с промежуточным цивилизационным положением самой России (и не забудем, что в XVI-XVII вв. это было еще Московское царство, которому довели по преимуществу византийские ментальные и идеологические образцы сакрального порядка – причем южно-европейского и ближневосточного происхождения²⁸), вела к значительной интровертации этих образов: образы Сибири могли восприниматься и воспринимались (а следовательно, и регулярно воспроизводились) как некие «внутренние» азиатские образы, необходимые европейской цивилизации для ее ментального равновесия в восточном направлении – Россия была здесь геоидеологиче-

²⁶ Земсков В.Б. Хроники Конквисты Америки и летописи взятия Сибири в типологическом сопоставлении // Латинская Америка. 1995. № 3. С. 88-95; Замятин Д.Н. Дискурсные стратегии в поле внутренней и внешней политики // Космополис. 2003. № 3 (5). Осень. С. 41-49; Замятин Д.Н. Азиатско-Тихоокеанский регион и Северо-Восток России: проблемы формирования географических образов трансграничных регионов в XXI веке // Восток. 2004. № 1. С. 136-142; Замятин Д.Н. Социокультурное развитие Сибири и его образно-географические контексты // Проблемы сибирской ментальности / Под общ. ред. А.О. Боронова. СПб., 2004. С. 45-60.

²⁷ Плигузов А.И. Текст-кентавр о сибирских самоедах. М.; Ньютонвиль, 1993.

²⁸ Плюханова М.Б. Сюжеты и символы Московского царства. М., 1995; Богданов А.П. От летописания к исследованию: Русские историки последней четверти XVII века. М., 1995; Цымбурский В.Л. Остров Россия. Геополитические и хронополитические работы. 1993-2006. М., 2006.

ским «учеником» и одновременно «подрядчиком», взявшимся доставлять (хотя бы и частично, не полностью) подобную ментальную продукцию «ко двору». Было бы неверно расценивать такую цивилизационную и метагеографическую ситуацию как ущербную: огромные пространства Зауралья, почти внезапно попавшие в сферу политического влияния Московского царства, требовали соответствующих, достаточно фундированных географических образов, и они были довольно успешно «импортированы» и адаптированы русской культурой, «увидевшей» их для себя вполне органичными; «Сибирская Тартария» – это не только европейский, но и российский образ, хорошо «работавший» в течение XVI-XVIII вв.

Метагеография Сибири как «коллективное бессознательное»

Посредник всегда рискует – рано или поздно – оказаться наедине с амбивалентным образом, лишенным внешней поддержки и подпитки и становящимся неуправляемым, непредсказуемым. Так и случилось с географическими образами Сибири, в известной мере бывшими глубоким «бессознательным» Европы, Запада вообще на его восточном евразийском фронтире, а заодно и автоматическим «бессознательным» России²⁹. В XIX в. Сибирь, получив своего внешнего геополитического двойника – американский фронт (что осознавалось к середине этого столетия)³⁰, – оказалась нужной Европе уже в качестве ближней периферийно-ресурсной окраины – что стало ясно и российской политической и культурной элите. Между тем, подобный образ рассматривается в когнитивном отношении, как правило, в качестве экстравертного, открытого в сторону дальнейших возможных концептуальных расширений.

Возникновение и развитие сибирского областничества стало «лакмусовой бумажкой» для выявления становившихся очевидными содержательных противоречий в образно-географическом комплексе Сибири, складывавшемся в пределах российской цивилизационной целостности³¹. Дискурс «Сибирь как колония» и декларировавшаяся как его следствие культурная и, возможно, политическая и экономическая автономия Сибири были когнитивной реакцией на ментальное раздвоение ключевых элементов географического образа-прототипа Сибири, воспринимавшегося «здесь и сейчас»: интровертивные инерционные элементы «говорили» о некоторой закрытости, глубинности, отдаленности, существовании для себя и в то же время для каких-то «зеркальных» надобностей цивилизационных отображений;

экстравертивные ускоряющие элементы, по сути, вновь копировались с помощью лекал западного воображения³². Однако цивилизационная ситуация в рамках диалога Европа – Россия, Запад – Россия к середине XIX в. была иной, нежели ранее, в XVI-XVIII вв. С одной стороны, Запад не нуждался более в образно-географических «посредниках» – эпоха зрелого

²⁹ Здесь я пытаюсь развить известный постфрейдистский дискурс Б. Гройса, примененный им по отношению к проблематике историсофской и культурософской амбивалентности отношений Запада и России, используя по аналогии некоторые положения глубинной психологии К. Юнга; см.: *Гройс Б.* Россия как подсознание Запада // *Гройс Б.* Искусство утопии М., 2003. С. 150-168.

³⁰ *Замятина Н.Ю.* Зона освоения (фронт) и ее образ в американской и русской культурах // *Общественные науки и современность.* 1998. № 5. С. 75-89.

³¹ *Серебрянников Н.В.* Опыт формирования областнической литературы. Томск, 2004; *Анисимов К.В.* Проблемы поэтики литературы Сибири XIX – начала XX века: особенности становления и развития региональной литературной традиции. Томск, 2005.

³² См. более подробно: *Замятин Д.Н.* Геократия... Анализ общей проблематики истории и теории сибирского областничества см.: *Алексеев В.В., Алексеева Е.В., Зубков К.И., Побережников И.В.* Азиатская Россия в геополитической и цивилизационной динамике XVI-XX веков. М., 2004. С. 411-448 (авторы раздела «Сибирское областничество: истоки и эволюция» – К.И. Зубков, М.В. Шиловский); также: *Сибирское областничество: Библиогр. справочник.* М.; Томск, 2002; *Горюшкин Л.М.* Дело об отделении Сибири от России // *Отечество. Краеведческий альманах.* Вып. 6. М., 1995. С. 66-84; *Потанин Г.Н.* Областническая тенденция в Сибири // *Отечество. Краеведческий альманах.* Вып. 6. С. 84-100; *Сватиков С.Г.* Россия и Сибирь // Там же. С. 100-113.

модерна диктовала стратегии прямой как военно-политической и экономической, так и цивилизационной экспансии. С другой стороны, именно к этой эпохе относится окончательное становление, оформление российской цивилизации, которая уже могла, хотя и с оглядкой на Европу, развивать основы своего собственного идеологического дискурса, в том числе и мета-географического.

Метагеографическая проблема, сформулированная по аналогии в терминах психологии, заключалась в следующем: экстравертивные образы колонизации и фронта оказывались недостаточными для «раскачки», радикальной трансформации интровертивных образов Сибири, активно складывавшихся до того на протяжении, по крайней мере, трехсот-четырехсот лет. При этом Россия, осознав себя самостоятельной цивилизацией, была уже фактически лишена европейской идеологической поддержки – механическое копирование западного по происхождению образа фронта не давало теперь столь же очевидных когнитивно-образных «дивидендов», как ретрансляция европейских образов Сибири в эпоху более раннего ментального осмысления этого региона. Московия исчезла, при этом «исчезла» и Сибирь как достаточно эффективный образно-географический комплекс в рамках российской цивилизации. Интеллектуальные усилия сибирских областников, а также и восприятие их усилий в России различными общественными слоями показали когнитивную недостаточность подобного дискурса; в то же время, благодаря трудам сибирских областников стали понятными сами масштаб и характер проблемы.

На наш взгляд, в течение XX в. серьезных изменений в оконтуренной метагеографической проблеме не произошло. Постоянные попытки воспроизводства ресурсно-периферийных фронтальных образов Сибири наряду с достаточно регулярными идеологическими призывами как политического, так и художественного и философского характера, призванными указать на стратегически важное значение Сибири в будущем российской цивилизации (включая и идеологические советские трактовки) оказывались противоречащими как друг другу, так и более глубоким интровертным слоям образа-архетипа³³. Сибирь действительно стала по-настоящему «бессознательным» России, но подобная ментальная ситуация может быть сравнительно благоприятной лишь на небольших исторических отрезках – «купаться» в бессознательном слишком долго невозможно, это вредно для «здоровья» самой цивилизации³⁴. По сути дела, до настоящего времени образ Сибири может вполне устойчиво воображаться в качестве коллективного глубинного района Евразии, символизирующего слабо тронутую человеком, пугающе суровую и в то же время поразительную своим размахом природу и таящего в себе неизведанные богатства, – как для Запада в широком смысле, так и для стран, модернизирующихся в условиях западного цивилизационного давления (Россия, Китай, Индия)³⁵.

«Двойная Сибирь»

Попытаемся описать сложившуюся ситуацию более подробно. По существу, можно говорить об образе-кентавре, двойном образе, «двойной Сибири» с точки зрения метагеографии. Налицо две очевидные ментальные дистанции, с помощью которых этот двойной образ существует и функционирует, однако подобная амбивалентность затрудняет развитие, переориентацию метагеографии России в целом, тормозит формирование новых, необходимых России как самостоятельной жизнеспособной цивилизации целенаправленных метагеографических структур. Для лучшего понимания такой когнитивной ситуации стоит обратиться, по аналогии, к теории шизофрении, разрабатывавшейся известным американским антропологом и психо-

³³ Речь здесь может идти, например, о столь разных писателях, как А. Солженицын, В. Астафьев, В. Распутин.

³⁴ Ср.: Юнг К. О природе психического // Юнг К. Структура и динамика психического. М., 2008. С. 185-269.

³⁵ См. в связи с этим: Замятин Д.Н. Образный империализм // Политические исследования. 2008. № 5. С. 45-55.

логом Грегори Бейтсоном³⁶. Центральное понятие его теории – это «двойное послание» (double bind). Смысл введения и использования понятия «двойное послание» – в попытке фиксации и анализа мощной психологической «вилки», расхождения, ощущаемого шизофреником между собственными мыслями и желаниями, с одной стороны, и практическим отсутствием способов их адекватной репрезентации во внешнем мире, в контакте с окружающими людьми. Фактически шизофреник работает с двумя не сочетающимися ментальными дистанциями – огромной по отношению к собственным мыслям и образам и ничтожной, почти исчезающей по отношению к внешнему миру. Постоянное несоответствие, диссонанс двух ментальных дистанций ведут постепенно к распаду индивидуальной психической целостности. По аналогии можно представить образ-кентавр Сибири («Сибирь-Китоврас») как своего рода метагеографическое «двойное послание», которое со временем может привести к разложению, распаду России как метагеографического целого, метагеографической системы. Сибирь уже может восприниматься как в известном смысле «шизофренический образ» в рамках российской цивилизации. Использование подобной психологической аналогии позволяет более остро почувствовать и более четко осмыслить суть данной проблемы.

Воспользуемся предложенной нами несколько ранее моделью пространственных представлений³⁷. В ее основе лежит психологическое представление об уровнях психического – от бессознательного до высокой степени рефлексии, характеризующей сознание. Наряду с этим, предполагается восхождение, или движение от преобладания в пространственных представлениях умозрительных схем до преобладания непосредственных визуальных впечатлений, оформляемых соответствующими знаково-символическими конструкциями.

Если структурировать в ментальном отношении основные понятия, описывающие образы пространства, производимые и поддерживаемые человеческими сообществами различных иерархических уровней, разного цивилизационного происхождения и локализации, то можно выделить на условной вертикальной оси, направленной вверх (внизу – бессознательное, вверху – сознание), четыре слоя-страты, образующих треугольник (или пирамиду, если строить трехмерную схему), размещенный своим основанием на горизонтали. Нижняя, самая протяженная по горизонтали страта, как бы утопающая в бессознательном, – это географические образы; на ней, немного выше, располагается «локально-мифологическая» страта, менее протяженная; еще выше, ближе к уровню некоего идеального сознания, – страта региональной идентичности; наконец, на самом вершине «колпачок» этого треугольника образов пространства – культурные ландшафты, находящиеся ближе всего, в силу своей доминирующей визуальности, к сознательным репрезентациям и интерпретациям различных локальных сообществ и их отдельных представителей³⁸. Понятно, что возможны и другие варианты схем, описывающие подобные соотношения указанных понятий. Здесь важно, однако, подчеркнуть, что всевозможные порождения оригинальных локальных или региональных мифов во многом базируются именно на географическом воображении, причём процесс разработки, оформления локального мифа представляет собой, по всей видимости, «полусознательную» или «полу-бессознательную» когнитивную «вытяжку» из определённых географических образов, являющихся неким «пластом бессознательного» для данной территории или места. Скорее всего,

³⁶ Бейтсон Г. Экология разума. Избранные статьи по антропологии, психиатрии и эпистемологии. М., 2000.

³⁷ Замятин Д.Н. Локальные мифы: модерн и географическое воображение // Литература Урала: история и современность: Сб. ст. Вып. 4. Локальные тексты и типы региональных нарративов. Екатеринбург, 2008. С. 10-12.

³⁸ Важно отметить, что для репрезентации всех выделенных уровней модели необходимо изучение локальных текстов; см., например: *Топоров В.Н.* Миф. Ритуал. Символ. Образ. Исследования в области мифопоэтического: Избранное. М., 1995; *Русская провинция: миф – текст – реальность* / Сост. А.Ф. Белоусов и Т.В. Цивьян. М.; СПб., 2000; *Кривонос В.Ш.* Гоголь: миф провинциального города // *Провинция как реальность и объект осмысления.* Тверь, 2001. С. 101-110; *Абашев В.В.* Пермь как текст. Пермь в русской культуре и литературе XX века. Пермь, 2000; *Лосский А.П.* Крымский текст в русской литературе. СПб., 2003; *Геопанорама русской культуры: Провинция и её локальные тексты* / Отв. ред. Л.О. Зайонц; Сост. В.В. Абашев, А.Ф. Белоусов, Т.В. Цивьян. М., 2004 и др.

онтологическая проблема взаимодействия географических образов и локальных мифов – если попытаться интерпретировать описанную выше схему – состоит в том, как из условного образно-географического «месива», не предполагающего каких-либо логически подобных последовательностей (пространственность здесь проявляется как наличие, насущность пространств, чьи образы не нуждаются ни в соотносительности, ни в иерархии, ни в ориентации/направлении), попытаться сформировать некоторые образно-географические «цепочки» в их предположительной (возможно, и не очень правдоподобной) последовательности, а затем, параллельно им, соотносясь с ними, попытаться рассказать вполне конкретную локальную историю, чьё содержание может быть мифологичным³⁹. Иначе говоря, при переходе от географических образов к локальным мифам и мифологиям должен произойти ментальный сдвиг, смещение – всякий локальный миф создается как разрыв между рядоположенными географическими образами, как когнитивное заполнение образно-географической лакуны соответствующим легендарным, сказочным, фольклорным нарративом⁴⁰.

Если продолжить первичную интерпретацию предложенной выше ментальной схемы образов пространства, сосредоточившись на позиционировании в её рамках локальных мифов, то стоит обратить внимание, что, очевидно, локальные мифы и целые локальные мифологии могут быть базой для развития соответствующих региональных идентичностей⁴¹. Ясно, что и в этом случае, при перемещении в сторону более осознанных, более «репрезентативных» образов пространства, должен происходить определённый ментальный сдвиг. На наш взгляд, он может заключаться в «неожиданных» – исходя из непосредственного содержания самих локальных мифов – образно-логических и часто весьма упрощённых трактовках этих историй, определяемых современными региональными политическими, социокультурными, экономическими контекстами и обстановками. Другими словами, региональные идентичности, формируемые конкретными целенаправленными событиями и манифестациями (установка мемориального знака или памятника, городское празднество, восстановление старого или строительство нового храма, интервью регионального политического или культурного деятеля в местной прессе и т.д.), как бы выпрямляют локальные мифы в когнитивном отношении, ставя их «на службу» конкретным локальным и региональным сообществам, с одной стороны, а с другой – само существование, воспроизводство и развитие региональных идентичностей, по-видимому, невозможно без выявления, реконструкции или деконструкции старых, хорошо закрепленных в региональном сознании мифов⁴², и основания и разработки новых локальных мифов, часть которых может постепенно закрепиться в региональном сознании, а часть,

³⁹ См. также: *Замятин Д.Н.* Локальные истории и методика моделирования гуманитарно-географического образа города // Гуманитарная география. Научный и культурно-просветительский альманах. Вып. 2. М.: Институт наследия, 2005. С. 276-323.

⁴⁰ См. блестящий современный пример развития бажовской уральской мифологии на основе хтонических горных образов: *Никулина М.* Камень. Гора. Пещера. Екатеринбург, 2002.

⁴¹ *Daniels S.* Place and Geographical Imagination // *Geography*. 1992. №. 4 (337). P. 310-322; *Studying Cultural Landscapes / Ed. by I. Robertson and P. Richards.* New York, 2003; Центр и региональные идентичности в России / Под ред. В. Гельмана и Т. Хепфа. М; СПб., 2003; *Груздов Е.В., Свейников А.В.* Словарь мифологии Омска // Пятые Омские искусствоведческие чтения «Современное искусство Сибири как со-бытие»: Материалы республиканской научной конференции. Омск, 2005. С. 109-144; *Вахрушев В.С.* О концепте «Балашовская мифология» // Жанры в мифологии, фольклоре и литературе. Весы: Альманах гуманитарных кафедр Балашовского филиала Саратовского государственного университета им. Н.Г. Чернышевского. № 31. Балашов, 2006. С. 59-74; Музейная Долина (рук. проекта И. Сорокин). [Б.м., б.г.] (проект по сакральной топографии и географии Саратова осуществлен при помощи Благотворительного фонда Потанина); Саратовское озеро: сакральная география. Мифопоэтический атлас. [Саратов], 2007; *Богомяков В.Г.* Региональная идентичность «земли тюменской». Екатеринбург, 2007; *Рахматуллин Р.* Москва – Рим. Новый счёт семихолмия // Независимая газета. Ex Libris. 10 октября 2002. С. 4-5; *Рахматуллин Р.* Две Москвы, или Метафизика столицы. М., 2008 и др.

⁴² См., например: *Елистратов В.С.* Евразийский Рим или Апология московского мещанства // *Елистратов В.С.* Язык старой Москвы: Лингвээнциклопедический словарь. М., 1997. С. 640-702; *Конькова О.И.* Ижорский мир: формирование и конструкция. Пространство и время // Поморские чтения по семиотике культуры. Вып. 2. Сакральная география и традиционные этнокультурные ландшафты народов Европейского Севера / Отв. ред. Н.М. Теребихин. Архангельск, 2006. С. 53-68; *Дранишкова Н.В.* Мифология Кенозерья // Поморские чтения по семиотике культуры. Вып. 2. С. 109-115.

оказавшись слабо соответствующими местным географическим образам-архетипам и действительным потребностям поддержания региональной идентичности, практически исчезнуть.

Итак, интерпретируя эту модель на примере Сибири, мы можем предположить, что для нее – в метагеографическом плане – характерно преимущественное развитие двух ментальных страт: страты географических образов (глубоко умозрительных, во многом заимствованных и частично переработанных) и страты культурных ландшафтов, в которой доминирует непосредственная рецепция при слабом развитии оригинальных, самобытных знаково-символических конструкций (они опять-таки в основном заимствованы из «материковой», Европейской России). При этом фактически выпадают или очень слабо репрезентированы локальные мифы и региональные идентичности – собственно средний, крайне важный уровень пространственных представлений. Конечно, не следует говорить, что в Сибири нет локальных мифологий или же отсутствуют региональные идентичности. Как хорошо известно из многих мемуарных, эпистолярных и художественных текстов, самосознание сибиряка, отличавшего себя от собственно «России», отмечалось довольно ясно уже в XIX в.⁴³ Точно так же можно говорить и о рождении локальных мифов, фиксируемых в разных местностях Сибири – здесь, однако, отличия от Европейской, Доуральской России минимальны. Речь о другом: количество, качество и уровень репрезентаций локальных мифологий и региональных идентичностей до сих пор недостаточны для того, чтобы обеспечивать равновесие и устойчивость общей «пирамиды» пространственных представлений Сибири и о Сибири – эта ментальная «пирамида» дисгармонична, неустойчива, непрочна, не автономна.

Проблема геоидеологического оформления территории: постановка вопроса

Метагеографические анализ и интерпретация включают в себя выявление идеологического компонента, скрепляющего обозначенные нами пространственные представления. Этот идеологический компонент можно назвать *геоидеологией*, под которой понимается система знаково-символических репрезентаций, где пространственные представления о конкретной территории актуализируются и подвергаются метафорической «возгонке»; иными словами, геоидеология делает определенные пространственные представления «горячими», готовыми к широкому и упрощенному риторическому использованию и употреблению в различных социокультурных и политических контекстах⁴⁴. Кроме того, геоидеология призвана осуществлять и репрезентировать специфические сакральные контакты между Землей и Небом, необходимые в той или иной форме как домодерным (здесь эта необходимость очевидна), так и современным обществам и цивилизациям (в которых эта необходимость может быть латентной, скрытой, иногда плохо осознаваемой)⁴⁵. С этой целью в геоидеологии могут использоваться различные религиозные представления, распространенные на определенной территории, однако смысл подобной геоидеологической «вертикальной» сакрализации несколько шире и одновременно уже собственно религиозного смысла: геоидеологическая сакрализация (возможная и в профанированных формах) обеспечивает территориям, районам, местам возможность получения

⁴³ *Кроноткин П.А.* Дневники разных лет. М., 1992; *Bassin M.* Inventing Siberia: Visions of the Russian East in the Early Nineteenth Century // *The American Historical Review*. 1991. Vol. 96. № 3. P. 763-794; *Bassin M.* Visions of Empire: Nationalist Imagination and Geographical Expansion in the Russian Far East, 1840–1865. Cambridge Univ. Press, 1999; *Алисимов К.В.* Проблемы поэтики литературы Сибири XIX – начала XX века: особенности становления и развития региональной литературной традиции. Томск, 2005.

⁴⁴ Здесь мы используем по аналогии введенное впервые К. Леви-Стросом деление культур на «горячие» и «холодные».

⁴⁵ См. в связи с этим: *Замятин Д.Н.* Феномен паломничества: географические образы и экзистенциальное пространство // *Мир психологии*. 2009. № 1. С. 102-111.

и использования образов сокровения или откровения, придавая им конкретный сакральный или полусакральный статус⁴⁶.

Как происходит геоидеологическое скрепление уровней пространственных представлений о территории? Как правило, оно осуществляется с помощью определенных локальных текстов, а также гениев места, чьи биографии, конкретные дела или же произведения актуализируют все уровни пространственных представлений. Можно сказать, что локальные тексты и гении места, «работающие» в разных ментальных измерениях, тем не менее, выполняют одну и ту же функцию – когнитивной «прошивки», связывания всех уровней в единое целое, в некую общую экзистенциальную «ткань» пространства. Тем более что значительная часть самих локальных текстов может быть либо непосредственно посвящена собственно гениям определенных мест, либо опосредованно способствовать появлению подобных гениев. И локальные тексты (к которым также могут относиться биографии / агиографии гениев места и тексты самих гениев места – писателей, художников, архитекторов, режиссеров, артистов, музыкантов, философов, общественных деятелей, политиков, краеведов и т.д.), и гении места (представляемые своего рода «эманацией» места, в то время как и место может «эманироваться» гением) могут репрезентироваться и одновременно репрезентировать все или часть описанных уровней пространственных представлений, например, включая только культурно-ландшафтный и локально-мифологический уровни⁴⁷.

Урал как автономный «психологический комплекс» русской культуры. На пути к метагеографии Зауралья

Вернемся теперь к метагеографической проблеме образов Сибири. С нашей точки зрения, необходим когнитивный переход к более сильным или более широким образам, позволяющим постепенно выявить и сконструировать достаточно устойчивую «пирамиду» пространственных представлений, потенциально обеспечивающих позитивную метагеографическую динамику России и российской цивилизации. Географические образы Зауралья как раз и могут быть такими ментальными конструктами, именно они могут способствовать становлению полноценной метагеографии Зауралья, включающей, в том числе, и динамичные образы самой Сибири. В чем смысл подобного образно-географического замещения?

Зауралье – потенциально открытый географический образ. В содержательном отношении оно может представлять из себя целостный «веер» дискурсов, направленных на ментальное освоение собственно Сибири, Дальнего Востока, Казахстана, Монголии, Центральной Азии в целом, Китая. В отличие от географических образов Сибири географические образы Зауралья могут разрабатываться и конструироваться как комплексные экстравертно-интровертные системы с использованием принципа дополнительности: всякий вновь разрабатываемый образно-географический дискурс имеет когнитивную «поддержку» соседних дискурсов, как бы вставляющихся друг в друга, оппонирующих друг другу и в то же время взаимодополняющих⁴⁸. Следует учесть, что в своей основе эти образы должны иметь российское цивилиза-

⁴⁶ Ср.: *Замятин Д.Н.* Локальные мифы... С. 14–16.

⁴⁷ См. более подробно: *Замятин Д.Н.* Гений места. Материалы к словарю гуманитарной географии // Гуманитарная география. Научный и культурно-просветительский альманах. Вып. 4. М., 2007. С. 271-273; *Замятин Д.Н.* Неуверенность бытия. Образ дома и дороги в фильме Андрея Тарковского «Зеркало» // Киноведческие записки. 2007. № 82. С. 14-23; *Замятина Н.Ю., Замятин Д.Н.* Гений места и город: варианты взаимодействия // Вестник Евразии. 2007. № 1 (35). С. 62-87; *Замятин Д.Н.* Внутренняя география пространства. Геономика любви в поэтической книге Бориса Пастернака «Сестра моя жизнь» // Гуманитарная география. Научный и культурно-просветительский альманах. Вып. 5. М., 2008. С. 75-87; *Замятина Н.Ю.* Ассоциативный «смысл» ландшафта г. Юрьевец через призму творчества Тарковского // Поморские чтения по семиотике культуры. Вып. 3: Сакральная география и традиционные этнокультурные ландшафты народов Европейского Севера / Сост. Н.М. Терехин, А.О. Подоплёкин, П.С. Журавлёв; отв. Ред. Н.М. Терехин. Архангельск, 2008. С. 362-373.

⁴⁸ Ср.: *Митрофанова Л.М.* «Урал», «Зауралье», «Россия» и «Сибирь»: перекресток понятий в творчестве Д.Н. Мамина-

ционное происхождение, что не может мешать плодотворным знаково-символическим взаимодействиям.

В основе потенциально эффективного развития географического образа Зауралья и в целом в метагеографии Зауралья должна находиться система устойчивых пространственных представлений об Урале, позиционирующих этот район не как традиционную границу между Европейской Россией и Сибирью, Европейской и Азиатской Россией, но как настоящий, истинный, новый центр России и российской цивилизации. Подобное позиционирование как раз может быть специфической уральской геоидеологией, скрепляющей все уровни достаточно хорошо сложившихся пространственных представлений об Урале. В таком случае пространственные представления Урала и об Урале становятся словно тыловой базой, прочным ментальным фундаментом развития метагеографии Зауралья. На наш взгляд, мощные локальные мифологии Урала достаточно хорошо сформировались уже к середине XX в., продолжая успешно развиваться и в начале XXI в., тогда как классические культурные ландшафты Урала эпохи раннего и зрелого модерна приобрели свои образцовые очертания не позже конца XIX – начала XX вв.⁴⁹. В то же время можно говорить о достаточно длительной, практически не прерывавшейся и устойчивой традиции становления географических образов Урала начиная с античности⁵⁰. Ряд довольно ярких репрезентаций уральской идентичности культурного, экономического и политического характера можно было наблюдать начиная уже со второй половины XIX в.; уральское областничество проявило себя как во время гражданской войны 1918-1921 гг., так и при распаде Советского Союза⁵¹. Наконец, в начале XXI в. для Урала были характерны интеллектуально-художественные, геомифологические и геоисториософские попытки осмыслить этот район – в различных дискурсивных традициях (сниженный постмодернизм, псевдо-историческое фэнтези, собственно примордиализм и традиционализм, сакральная география в ее паранаучной версии и т.д.) – как ядерное пространство, определяющее перспективы исторического развития гораздо более крупных территорий – России, Северной Евразии, Евразии в целом⁵². Такая когнитивная ситуация, сама по себе, вне зависимости от оценки качества раз-

Сибиряка // Литература Урала: история и современность. Вып. 4. Локальные тексты и типы региональных нарративов. Екатеринбург, 2008. С. 130-136.

⁴⁹ *Замятин Д.Н.* Локальные мифы...; *Замятин Д.Н.* Геократия... См. также: *Капкан М.В.* Уральские города-заводы: мифологические конструкции // Изв. Уральского гос. ун-та. 2006. № 47. Гуманитарные науки. Вып. 12. Культурология. С. 36-45.

⁵⁰ *Архипова Н.П., Ястребов Е.В.* Как были открыты Уральские горы. Очерки по истории открытия и изучения природы Урала. Изд. 3-е, перераб. Свердловск, 1990; Литературный процесс на Урале в контексте историко-культурных взаимодействий: конец XIV – XVIII вв.: Коллектив. монография / Отв. ред. Е.К. Созина. Екатеринбург, 2006 (особенно содержательно важны написанный К.В. Анисимовым раздел 1 «Урал глазами путешественников: мифопоэтика, идеология, этнография», и раздел 2, «Духовная “оседлость” Урала в памятниках словесности», авторы которого – В.В. Блажес и Л.С. Соболева); Образ Урала в документах и литературных произведениях (от древности до конца XIX века) / Сост. Е.П. Пирогова. Екатеринбург, 2007; Образ Урала в изобразительном искусстве / Сост. Е.П. Алексеев. Екатеринбург, 2008.

⁵¹ Характерен в этой связи выход с августа 1991 г. журнала «Уральский областник», начавшего в первом номере любительские публикации документов Временного Областного Правительства Урала 1918 г. (с. 55-76); более подробно: *Алексеев В.В., Алексеева Е.В., Зубков К.И., Побережников И.В.* Азиатская Россия в геополитической и цивилизационной динамике XVI-XX веков. М., 2004. С. 448-489.

⁵² В рамках постсоветской социокультурной ситуации важное значение имел цикл романов Сергея Алексеева, прежде всего, «Сокровища Валькирии» (см.: *Алексеев С.* Сокровища Валькирии. М.; СПб., 1997). В 2000-х гг. мифологическую «эстафету» приняли писатели Алексей Иванов с романами «Сердце Пармы» и «Золото бунта» и Ольга Славникова (назовем ее роман «2017»). См. также: *Литовская М.А.* Литературная борьба за определение статуса территории: Ольга Славникова – Алексей Иванов // Литература Урала: история и современность. Вып. 2. Екатеринбург, 2006. С. 66-76; *Подлесных А.С.* Кама в художественном пространстве романа А. Иванова «Чердынь – княгиня гор» // Литература Урала: история и современность. Вып. 2. С. 76-81; *Соболева Е.Г.* Формирование мифа «Екатеринбург – третья столица» в текстах СМИ // Литература Урала: история и современность. Вып. 2. С. 95-103; *Абашев В.В.* «Какая древняя земля, какая дремучая история, какая неиссякаемая сила...»: геоэтика как основа геополитики // Михаил Осоргин: Художник и журналист. Пермь, 2006. С. 197-208; *Новопашин С.А.* Священное пространство Урала. В поисках иных смыслов. Екатеринбург, 2005; *Новопашин С.А.* Уральский миф. Создание мифологем как фактор успешного брендинга. Екатеринбург, 2007; *Литовская М.А.* Проблема формирования региональной мифологии: проект П.П. Бажова // Михаил Осоргин: Художник и журналист. Пермь, 2006. С. 188-197; *Алексеева М.А.* «Объект, к освоению не предназначенный»: пространственная модель мира в романе О.А. Славниковой «2017» // Литература Урала: история и современность: Сб. ст. Вып. 4. Локальные тексты и типы региональных нарративов. Екатеринбург,

личных попыток обобщенно представить метагеографию Урала, несомненно, является симптомом готовности этого района быть одним из ключевых элементов проспективной и перспективной метагеографии России.

В известной мере Урал может рассматриваться как автономный «психологический комплекс» русской культуры. С одной стороны, «навязчивый» образ Урала может периодически возникать в различного рода дискурсах – политических, культурных, художественных, экономических – о будущем и судьбах России. Характерный и крайне интересный пример подобного «иррационального» появления образа Урала – стихотворение А. Блока «Скифы», в котором общее поэтическое развитие темы «внезапно» нарушается вторжением в целом не подготовленного предыдущим «текстовым потоком» мощного уральского мотива («Идите все, идите на Урал...» и т.д.)⁵³. С другой стороны, образ Урала может позиционироваться в рамках русской культуры как постоянно подавляемый, «принижаемый», преуменьшаемый – он, видимо, достаточно важен, но не настолько, чтобы считать его вполне открыто первостепенным; это, пожалуй, культурный мотив некоторого психологического «стеснения», отодвигания, пренебрежения (ср. современные народные идиомы и поговорки: «Ты что – с Урала?», «Одет, как с Урала» и т.п.). На наш взгляд, подобная культурно-психологическая ситуация способствует пониманию географического образа Урала как фундаментального для дальнейшего развития географических образов Зауралья и метагеографии Зауралья – вне зависимости от того, будет ли далее этот психокультурный комплекс устойчиво воспроизводиться или же постепенно исчезнет и будет заменен каким-то другим.

Миф о Ермаке: первичная «прошивка» образно-географического поля Урала – Зауралья – Сибири

Как может быть осуществлен эффективный когнитивный переход от, по преимуществу, интровертивных географических образов Сибири к более широким экстравертно-интровертным географическим образам Зауралья? Здесь, по всей видимости, нужен какой-либо ключевой локальный текст и/или гений места, объединяющий и связывающий эти образно-географические системы и пространственные представления в целом. В качестве такого локального текста или, скорее, совокупности локальных текстов можно рассматривать летописные и фольклорные тексты о Ермаке⁵⁴. Ермак выступает героем крупного локального мифа, объединяющего непосредственно Предуралье, сам Урал, Зауралье (в основном Западную Сибирь). Характерно, что этот популярный локальный миф имеет множество конкретных ландшафтных репрезентаций (конкретные памятные места, в том числе, очевидно, большинство тех, где он никогда бывать не мог), является основой для становления, по крайней мере, нескольких региональных идентичностей (предуральской/прикамской/пермской, собственно уральской, западно-сибирской); географические образы, лежащие в его фундаменте, содержательно выражают, *пред-ставляют* относительно свободные окраинные речные и приречные пространства, служащие удобными путями для быстрого передвижения и в то же время местами непрекращающихся разбоев и пограничных стычек. Ермака можно назвать даже не гением места (поскольку различные версии ермаковского мифа указывают на множество мест его остановок,

2008. С. 213-222.

⁵³ См.: *Замятин Д.* Географические образы и цивилизационная идентичность России: метаморфозы пространства в «Скифах» Александра Блока // *Beyond the Empire: Images of Russia in the Eurasian Cultural Context*. Sapporo: Slavic Research Center, Hokkaido University, 2008. С. 237-255.

⁵⁴ См.: *Блажес В.В.* Народная история о Ермаке. Екатеринбург, 2002; также: *Соболева Л.С.* Художественная концептуализация похода Ермака в летописных и богослужебных текстах конца XVI – начала XVII вв. // *Литературный процесс на Урале в контексте историко-культурных взаимодействий: конец XIV – XVIII вв.*: Коллектив. монография / Отв. ред. Е.К. Созина. Екатеринбург, 2006. С. 91-109.

разбоев, битв, гибели и т.д.), а, возможно, гением пространства, гением переходного урало-сибирского пространства, причем в образах этого пространства присутствуют и остаточные образы казачьих рек и традиционных казачьих территорий (Волга, Дон, Яик, Терек, Донская область, Северный Кавказ), ибо народные легенды, рассматриваемые как целостная дискурсивная система, пытаются привязать рождение и происхождение атамана к возможно большему вероятному мифологическому ареалу. Важно отметить, что ермаковский миф можно классифицировать даже не просто как локальный (хотя бы и с широким ареалом распространения), а как именно транслокальный миф, как бы перетекающий из района в район с соответствующими образно-содержательными модификациями и выходящий в целом, очевидно, на уровень общенационального мифа, имеющего явные региональные привязки и репрезентации. Принципиальная пространственная переходность этого мифа подчеркивается также сочетанием и взаимодействием нескольких национально-мифологических традиций – русской, татарской, частично и мансийской. Несмотря на то, что ермаковский миф воспроизводится в настоящее время уже в основном не с помощью устной передачи (в устной традиции он практически угасает), а с помощью более современных средств культурной коммуникации и репрезентации, он остается, на наш взгляд, одним из главных содержательных источников структурирования и оформления метагеографии Зауралья.

Образно-географическое поле Урала – Зауралья – Сибири словно прошивается, пронизывается ориентированными с запада на восток – юго-восток пространственными представлениями, развиваемыми на базе мифа о Ермаке. Важно при этом, что данный миф, по сути, история событий, связанных с движением по пограничным рекам: Волге, Каме, Чусовой, Серебрянке, Иртышу и т.д. Уральские владения Строгановых на пути Ермака в Сибирь становятся своего рода «ситом» или мембраной, пропускающей казаков в Зауралье. Фактически в этой истории Урал не воображается как горы по преимуществу, хотя в легендах о Ермаке есть и пещеры чувовского камня, и шиханы, и клады в пещерах (подобное типично и для чисто «речных» народных мифов, например, волжский миф о Стеньке Разине). Урал в ермаковском мифе воображается, скорее, как более-менее равнинно-холмистое речное пространство, ведущее казачью дружину в Сибирь; он не видится здесь суровым Камнем, препятствующим походу на восток. Подобная иллюзия, возникающая при непосредственном восприятии легенды о Ермаке, возможно, не случайна и связана с позднейшими текстовыми наслоениями и вариациями, обеспечивающими обратный ход географических образов. Другими словами, равнинный, плоский рельеф Западно-Сибирской низменности мог «выровнять» и ландшафтные репрезентации различных местных вариантов мифа, складывавшиеся *post factum*, гораздо позднее событий конца XVI в. в условиях постепенного масштабного осознания важности финальных событий конкретной истории (борьбы с Кучумом, гибели Ермака), происходивших уже в Зауралье. Так или иначе, предполагаемая нами образно-географическая аберрация в связке Урал – Зауралье – Сибирь позволяет «сростить» эти пространства, представить их архетипом-первообразом единого «равнинно-плоскостного» потока российской метагеографии,двигающейся и расширяющейся на восток и юго-восток.

Стрела и шар: «геограмма» Зауралья

Для более полного, целостного понимания содержательного образно-географического перехода Сибирь – Зауралье можно использовать концепты шара и стрелы. Географический, или историко-географический, образ Сибири формировался в течение нескольких столетий как шар или сфера – иначе говоря, большинство знаков, символов, архетипов и стереотипов, связанных с этим образом и связываемых данным образом в единую систему, удобнее представлять как постоянно закругляющуюся бесконечную поверхность, ориентированную в любой

её точке на самоё себя⁵⁵. Здесь мы можем уверенно говорить даже о типе метагеографического образа-шара или сферы, формирующей, как правило, соответствующую конкретную топографию и топологию фрактальных и фрактализующихся мест – эти места в рамках своего самоподобия стремятся к тотальной внутренней пространственности, порождающей геоонтологию стоящего, застаивающегося, расшатавшегося, «вывихнутого», постоянно «распадающегося» времени (ср. в «Гамлете»: “The time is out of joint” и метафизическое продолжение этой темы в поэзии Мандельштама 1920-х гг. с «выходом» в Сибирь, «жаркую шубу сибирских степей»).

В свою очередь, метагеографический образ Зауралья можно рассматривать как стрелу, пронизывающую, протыкающую «дымящийся шар» Сибири и словно заставляющую его превращаться, трансформироваться в ряд самовоспроизводящихся спиралей, создающих одновременно пространственный эффект ретроспективы и перспективы, «геограмму» всех возможных локальных мифов и текстов, культурных ландшафтов, становящихся уже уникальными представлениями закрепляющихся тем самым мест. Метагеографический образ-стрела, по всей видимости, может выступать как тип упорядоченных и в то же время расходящихся временных последовательностей, постоянно координируемых и соотносимых в рамках всё новых и новых опытов пространственности.

Эти новые возможные опыты пространственности должны опираться всякий раз на метагеографическое понимание Зауралья как расширяющегося образа. В таком случае нужен предварительный метагеографический анализ приставки «за-» и, собственно, дефиса, расчленяющего и разделяющего в какой-то момент пространство Урала и то, что *за* ним следует.

Приставка «за-» в образе Зауралья полагает собой возможность некоего «-уралья» – приуралья, поуралья, подуралья, надуралья и т.д. Мы пишем эти слова со строчной буквы, поскольку сам образ лишь предполагает такие потенциальные пространства, которые не обязательно могут быть и должны быть представлены и репрезентированы. В то же время приставка «за-» акцентирует наше внимание на возможности заглянуть, засмотреться, задуматься, замыслить что-то, что является неким ментальным или онтологическим продолжением Урала, однако сам «Урал» остается на месте – он не передает энергетику своего пространства непосредственно, но создает лучи, районы пространственностей посредством внедрения и повторения данной приставки. В свою очередь, Зауралье или даже Зауралья оказываются возможными в силу онтологического отодвигания самого Урала, своего рода его переворачивания и выворачивания. Урал в непосредственно данной географии кажется продвигающимся на восток, северо-восток и юго-восток, и в то же время метагеографически он оттесняется на запад, становясь все более и более европейским, или же российским. Такой подход учитывает и то обстоятельство, что для жителей традиционной Сибири или Дальнего Востока Зауральем являются собственно те районы, которые находятся к западу от Урала, европейская часть России, Восточная Европа и т.д. Мы можем сказать, что метагеографическое понимание Зауралья оказывается серией расходящихся образов-опытов пространственности, включающих как «объевропеивание» районов европейской части России, так и «овосточивание» регионов Сибири и Дальнего Востока. Приставка «за-» в образе Зауралья является обоюдоострой – как в смысле непосредственного расширения районов и зон новых опытов пространственности, так и в смысле опосредованного перехода к новым районам человеческого бытия.

Между тем, возникающий в подобном метагеографическом анализе дефис между «за» и «уральем» говорит нам, что в этом онтологическом зазоре возможно появление «уральскости», т.е. таких ландшафтных и локально-мифологических представлений, которые являют Урал как точно определенное место вне его непосредственных географических координат. Уральскость может рассматриваться как пространственная идентичность, обусловленная рас-

⁵⁵ Ср. также диалектику шара, точки и линии, разработанную Николаем Кузанским. См.: *Кузанский Н. Игра в шар* // Кузанский Н. Сочинения: В 2 т. Т. 2. М., 1980. С. 249-317.

ширением онтологического зазора между собственно Уралом и Зауральем. Именно обнаружение и фиксация уральскости позволят твердо говорить и рассуждать о становлении Зауралья как устойчивого бытия-существования новых опытов пространственности – точно так же, как европейскость можно рассматривать в качестве «гаранта» онтологического существования самой России, подобно метагеографическому «Заевропью». В таком случае и Сибирь, попадающая в прочный и надёжный «кокон» зауральских метагеографических образов, может оказаться достаточно автономным и бытийно устойчивым образом-опытом пространственности. Здесь, тем не менее, мы пока не можем говорить об онтологической возможности «Засибири», поскольку метагеография Сибири еще не явлена как целостное развернутое дискурсивное поле поддерживающего само себя воображения.

Д.Н. ЗАМЯТИН

Сибиряки на службе империи: служба и самосознание (случай П.А. Словцова и И.Т. Калашникова)⁵⁶

В личном архиве романиста Ивана Тимофеевича Калашникова, хранящемся в Пушкинском Доме, имеется подборка документов, относящихся к возведению его в 1859 г. в ранг тайного советника. Большая часть этой подборки вполне ординарна и представляет собой типичный пример имперского чиновничества середины XIX в., тем не менее она небезынтересна для исследователей. Как и многие прочие документы обширного архива писателя, эти тщательно приведены им в порядок и озаглавлены; причем, сообщая своим будущим читателям об окончании работы «26 января 1859 года в доме Горянского в С. Петербурге, в Фурштатской улице № 31», Калашников вдобавок создает подробный рассказ о том, как он удостоился столь высокой ступени в табели о рангах. В том, что читатели будущего обязательно обратят внимание на этот документ, он явно не сомневался – об этом свидетельствуют как дотошность указаний на время и место создания текста, так и в целом осознание своего служебного продвижения как важного исторического события. Так, описывая свою аудиенцию у Александра II, он отмечает следующее: «Не многим из Сибиряков удалась эта честь. Я первый из них Тайный Советник и едва ли не первый удостоился говорить с ГОСУДАРЕМ. Слава Господу Иисусу, до сегодня не оставляющему меня своим божественным покровом. Всемогуший сказал мне во сне: “Я тебе помогу”». А несколько позднее, 9 сентября 1859 г., производство и аудиенция у императора были увенчаны приглашением на торжественный обед, на котором снова присутствовал царь. Вдоль нарисованной схемы расположения мест на обеде Калашников написал: «Я был на обеде у ГОСУДАРЯ! Право, чудно подумать, что Иркутской Казен[ной] Палаты подканцелярист попал в Тайные Советники и приглашен на обед к ГОСУДАРИЮ! Слава Богу, благодетелю нашему!»⁵⁷.

Рассказ Калашникова о его карьерном продвижении является показательным историческим источником, поскольку он обнаруживает сакральное переживание многими русскими чиновниками своей службы. Изучение того, как служебная деятельность воздействует на идентичность чиновника, обеспечивая его пропитанием в материальном и духовном смыслах, позволит нам лучше понять причины многолетней стабильной работы имперского властного механизма. В последнее время именно эта его черта – способность долгое время связывать воедино громадное государство, состоящее из бесчисленного количества составных частей, – становится более приоритетным объектом исследования, нежели традиционное выявление предпосылок революций 1917 г.⁵⁸ Особое внимание в рамках данного подхода уделяется взаимоотношению «частной» и «общественной» жизни в империи⁵⁹. В этом смысле понять внутреннее переживание чиновником своей службы является для историка Российской империи важной задачей.

Цитированный выше рассказ Калашникова служит также примером того, как государственные институты могли связывать воедино различные регионы страны и формировать идентичность, в рамках которой главной «родиной» оказывалась сама империя. Современной наукой категория империи была переосмыслена – ученые стараются исключить из этого понятия

⁵⁶ Перевод К.В. Анисимова.

⁵⁷ ИРЛИ. Ф. 120. Оп. 1. Ед. хр. 145. Лл. 26 об.; 28-29.

⁵⁸ Burbank, Jane and Ransel David, eds. *Imperial Russia: New Histories for the Empire*. Bloomington, 1998. P. XVI.

⁵⁹ См., например: Randolph, John. *The House in the Garden: The Bakunin Family and the Romance of Russian Idealism*. Ithaca, 2007. См. также материалы недавнего круглого стола, организованного журналом *American Historical Review* и посвященного теме «Историки и биография»: *American Historical Review*. 2009. Vol. 114. No. 3. P. 573-661.

эмоциональный компонент⁶⁰. И хотя оно все равно известно сегодня как преимущественно умаляющий эпитет, слово «империя» долго означало и «мир-цивилизацию», выступавший «в роли объединяющего начала ойкумены, окруженной разрушительной стихией хаоса и варварства»⁶¹. Такое представление о России было присуще ее правителям, которые, начиная с Петра Великого, считали себя «царями-реформаторами»⁶².

Известные современному исследователю в основном как деятели, стоявшие «у истоков сибирского областничества»⁶³, Иван Калашников и Пётр Словцов выражали подобное воззрение на империю. Оба они, как мы постараемся показать, были образцовыми персонажами имперской жизни. Как написал Джеффри Хоскинг, они «были одеты в одежды империи, говорили на ее языке, и именно она была их родиной в истинном смысле слова»⁶⁴. Однако в отличие от землевладельцев внутренних губерний, которых имел в виду Хоскинг, Словцов и Калашников были уроженцами Сибири, области, особенно зависящей, по мнению обоих, от действий институтов империи. И если в самом деле справедливо характеризовать их как первых сибирских патриотов, тем не менее необходимо отметить, что признание ими Сибири в качестве «родины» осуществлялось не в ущерб самоотжествлению с империей.

В данной работе мы не имеем возможности с достаточной полнотой осветить биографии Словцова и Калашникова, однако считаем необходимым дать краткий очерк их жизни для того, чтобы ясно представить контекст анализируемых ниже обстоятельств⁶⁵. Пётр Андреевич Словцов родился в 1767 г. в семье священника в уральском горнопромышленном городке Нижне-сусанинский завод⁶⁶, где он получил начальное домашнее образование. Большую часть 1780-х гг. Словцов провел в Тобольске, обучаясь в местной семинарии, после чего был отправлен в Санкт-Петербург продолжать образование в Александро-Невской семинарии, где он познакомился и подружился с М.М. Сперанским. Имея достаточно высокую самооценку вследствие своего петербургского образования, Словцов по возвращении в Тобольск в 1793 г. шокировал тобольское общество проповедью, посвященной бракосочетанию царевича Александра. В этой проповеди, в числе прочего, Словцов охарактеризовал монархические государства, в которых граждане не равны перед законом, как «великие гробницы, замыкающие в себе несчастные стелющиеся трупы»⁶⁷. За это и ряд подобных высказываний Словцов был отправлен в заключение на Ладугу в Валаамский монастырь. В 1795 г. ему позволили вернуться в Санкт-Петербург, где он в качестве преподавателя Александро-Невской семинарии снова сошелся со Сперанским. Как и его знаменитый в будущем друг, Словцов решил делать светскую карьеру и вскоре добился выдающихся успехов в столице. Однако из-за до сих пор не проясненных обстоятельств в 1808

⁶⁰ Обсуждение этого процесса см. в работах: Cooper, Frederick. *Colonialism in Question: Theory, Knowledge, History*. Berkeley, 2005. P. 3-32; Герасимов И., Глебов С., Каплуновский А., Могильнер М., Семёнов А. *Новая имперская история постсоветского пространства*. Казань, 2004. С. 7-32.

⁶¹ Герасимов И. и др. *Новая история постсоветского пространства*. С. 7.

⁶² Whittaker, Cynthia H. *The Reforming Tsar: The Redefinition of Autocratic Duty in Eighteenth-Century Russia* // *Slavic Review*. 1992. Vol. 51. № 1. P. 77-98; См. также: Wortman, Richard S. *Scenarios of Power: Myth and Ceremony in Russian Monarchy*. Vol. 1. Princeton, 1995.

⁶³ Стенанов Н. П.А. Словцов (у истоков сибирского областничества). Л., 1935.

⁶⁴ Hosking, Geoffrey. *Russia: People and Empire, 1552-1917*. L., 1997. P. 153.

⁶⁵ Подробнее см.: Беспалова Л. *Сибирский просветитель*. Свердловск, 1973; Богданова, А.А. *Сибирский романист И.Т. Калашников* // Уч. зап. Новосибирского гос. пед. ин-та. 1948. Вып. 7. С. 87-120; Анисимов К.В. *Между Тобольском и Санкт-Петербургом: из истории эстетического самоопределения ранней сибирской литературы (П.А. Словцов vs. Г.И. Спасский)* // Вестник Томского государственного университета. Филология. 2008. № 3 (4). С. 64-72; См. также диссертацию автора этой статьи «Просвещая полуночную землю: Пётр Словцов, Иван Калашников и становление русской Сибири», в которой особое внимание будет уделено малоизученным вопросам служебной карьеры обоих деятелей.

⁶⁶ Имеются также данные о рождении Словцова в другом уральском городе – Невьянске. Подробнее на эту тему см.: Анисимов К.В. *Проблемы поэтики литературы Сибири XIX – начала XX века: Особенности становления и развития региональной литературной традиции*. Томск, 2005. С. 105-106.

⁶⁷ Три проповеди П.А. Словцова // Чтения в Императорском обществе истории и древностей российских при Московском университете. 1873. Кн. 13. С. 10-13.

г. его обвинили в лихоимстве. Несмотря на последовавшее оправдание, Словцов был опорочен, и царь решил отправить его под начало недавно назначенного генерал-губернатора Сибири Ивана Пестеля. В 1814 г. после нескольких лет служебных поездок по родному Уралу Словцова перевели в Иркутск, где он был назначен главой иркутского совестного суда и директором иркутских училищ. Как раз в это время он познакомился с юным Иваном Калашниковым, иркутянином, родившимся в семье чиновника Тимофея Калашникова в 1797 г.⁶⁸ Калашников получил образование в недавно открытой Иркутской гимназии и стал служить в казенной палате. В это время Словцов начал опекать подающего надежды молодого человека, проверять его первые литературные эксперименты и, используя свое знакомство с М.М. Сперанским (служившим в 1819-1820 гг. в Иркутске сибирским генерал-губернатором), способствовал переезду Калашникова в 1823 г. в Петербург. По приезду Калашников женился на крестнице Сперанского Елизавете Петровне Масальской, сестре известного в будущем исторического романиста Константина Масальского⁶⁹. В течение 1820-х гг., пока Калашников устраивался в столице, Словцов служил визитатором сибирских училищ и вышел в отставку действительным статским советником (чин 4-го класса), когда должность визитатора была упразднена в 1829 г. в результате реформы сибирской образовательной системы. Вопреки полученному разрешению вернуться во «внутренние губернии» Словцов провел остаток своей жизни в Тобольске, где и умер в 1843 г. Калашников остался жить в Санкт-Петербурге и стал там отцом огромного семейства (его жена родила ему 17 детей), поднимаясь по лестнице правительственных постов и достигнув накануне своей смерти в 1863 г. ранга тайного советника (чин 3-го класса).

Сегодня Словцов и Калашников известны преимущественно своими трудами. Словцов – как автор «Писем из Сибири» (1828), «Прогулок вокруг Тобольска» (1834) и в особенности «Исторического обозрения Сибири» (1838, 1844), благодаря которому уже после смерти он обрел славу предтечи сибирского областничества⁷⁰. Г.Н. Потанин, например, начинает свою работу «Областническая тенденция в Сибири» (1907) с указания, что «первым сибирским патриотом всегда считали Словцова», и добавляет, что сибиряки воспринимали словцовское «Историческое обозрение» как «патриотический подвиг»⁷¹. В другой работе Потанин отметил: «Тогда не было еще в Сибири никаких ученых учреждений, ни географических обществ, ни университета. В одном Словцове сосредоточивалась вся умственная жизнь Сибири, вся ее наука; он совмещал в себе целое географическое общество, целый исторический институт. Таким же, почти одиночкой, является впоследствии и Николай Михайлович Ядринцев после тридцатилетнего затишья»⁷².

Однако, как отметил К.В. Анисимов, «локальный патриотизм (Словцова. – М.С.) носил, скорее всего, стихийный, индивидуально-психологический характер»⁷³. Причина такого положения вещей заключалась в том что, по мнению Словцова, сибирская история – это история распространения цивилизующего начала, исходящего от государства с его последовательной практикой законотворчества, распространением в далеких землях просвещения и пропове-

⁶⁸ Тимофей Петрович Калашников оставил после себя целый ряд уникальных документов, в частности, свою биографию, переписку и дневник, который, в числе прочего, содержит описание снов его автора. Эти материалы хранятся в архиве Пушкинского Дома. Очерк биографии опубликован Б.Л. Модзалевским. См.: *Калашников Т.П.* Жизнь незапамятного Тимофея Петровича Калашникова, простым слогом описанная с 1762 по 1794 год // Русский архив. 1904. Кн. 3. С. 145-183.

⁶⁹ ИРЛИ. Ф. 120. Оп. 1. Ед. хр. 22. Л. 1 об. (Письмо И. Т. Калашникова к Сергею Тимофеевичу Васильеву от 2 февр. 1824 г.).

⁷⁰ Главные труды Словцова недавно были переизданы. См.: *Словцов П.А.* Письма из Сибири 1826 года. Прогулки вокруг Тобольска в 1830 году. Тюмень, 1999; *Словцов П.А.* История Сибири. От Ермака до Екатерины II. (Историческое обозрение Сибири) М., 2006. Библиографию опубликованных работ автора см. в кн.: *Беспалова Л.* Сибирский просветитель. С. 139-143.

⁷¹ *Потанин Г.Н.* Областническая тенденция в Сибири. Томск, 1907. С. 1.

⁷² Цит. по: *Анисимов К.В.* Проблемы поэтики литературы Сибири XIX – начала XX века: Особенности становления и развития региональной литературной традиции. С. 104-105.

⁷³ Там же. С. 106.

дью христианства. Таким образом, Словцов уверен, что сибирская история «выходит из пелен самозабвения»⁷⁴ только после разгрома ханства Кучума. «Вся ваша Россия и наша Сибирь по XIX столетие», – утверждает он, – были миром, созданным Петром Великим и Екатериной II: если первый «разлучил между тьмой и светом», то вторая создала «Русского по образу и подобию человека»⁷⁵. Именно сопричастность судьбе империи сообщает целостность судьбе и самой Сибири: «в стране, зарождающейся из многочисленных зародышей, хотя зародыши сии и не были еще мыслящи, не радостно ли, – писал он, – предусматривать сложение будущей съединенной жизни, жизни небывалой»⁷⁶. И хотя Словцов упоминал о «колониальном» предназначении Сибири в составе империи (в экономическом смысле), всё же эта тема звучит в его наследии сравнительно глухо. Как и многочисленные чиновники европейских трансконтинентальных империй, он верил в то, что потенциальные успехи просвещения в составе имперского государства превысят ту цену, которую должны заплатить за них местные жители. Это определило главную идейную установку его двухтомного «Исторического обозрения», в котором сибирская история определена как «добавка» к русской⁷⁷

⁷⁴ Словцов П.А. История Сибири. От Ермака до Екатерины II. (Историческое обозрение Сибири) М., 2006. С. 53.

⁷⁵ Словцов П.А. Прогулки вокруг Тобольска. С. 135.

⁷⁶ Словцов П.А. История Сибири. С. 97; Степанов Н. П.А. Словцов. С. 28-29.

⁷⁷ Словцов П.А. История Сибири. С. 280. Обсуждение работ Словцова в этом аспекте см.: Мирзоев В. Историография Сибири. 1-я половина XIX века. Кемерово, 1965. С. 88-138; Анисимов К.В. Проблемы поэтики литературы Сибири XIX – начала XX века: Особенности становления и развития региональной литературной традиции. С. 97-124.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.